

УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

М57

оформление, макет — Валерий Калныньш

Минаев Б. Д.

М57 Мягкая ткань: Роман. Книга вторая. Сукно. — М.: Время, 2016. — 448 с. — (Серия «Самое время!»)

ISBN 978-5-9691-1484-5

Роман известного российского писателя Бориса Минаева — вторая часть дилогии «Мягкая ткань». События столетней давности активно рифмуются автором с проблемами нынешней эпохи, а частная жизнь обычных людей оказывается под прицелом истории. Знакомые нам по роману «Батист» доктор Весленский, братья Каневские и сестры Штейн, революционные солдаты и вожаки крестьянских армий, следователи НКВД и поэты, дантисты и армейские пекари — все они образуют «мягкую ткань» жизни, которую пытаются рвать на части войны и революции. Главным двигателем сюжета в романе оказывается, тем не менее, не история, а человеческие связи и личные события: любовь, разлука, желание уберечься от ненависти и жестокости, попытка «залечь на дно жизни».

ББК 84Р7-4

ISBN 978-5-9691-1484-5



9

785969 114845

© Борис Минаев, 2016

© «Время», 2016

Глава первая

РАТНИК ВТОРОГО ПРИЗЫВА (1915)

Шинельные ткани. Для пошивки шинелей применяются шерстяные ткани повышенного веса (650—800 г 1 кв. метр). К шинельным тканям, помимо хорошего внешнего вида, предъявляются особые требования: эти ткани должны быть плотны, не дряблы, иметь хорошие тепловые свойства, значительную толщину, противостоять смятию и истиранию, защищать от действия ветра, дождя, сохранять хороший внешний вид после намочения. Все шинельные ткани по своей выработке являются суконными. Для суконных тканей применяется пряжа пушистая, вырабатываемая из коротковолокнистой шерсти. В отделке суконные ткани подвергаются сильной увалке, благодаря чему происходит их усадка по длине и особенно по ширине, толщина ткани значительно увеличивается, поверхность ее с лица и изнанки «заваливается», и ткацкий рисунок покрывается слоем прочно свалявшихся волокон. От качества валки суконных тканей в значительной мере зависит добротность их: плотность, ремнистость наощупь, отсутствие рыхлости, дряблости, полнота и ровнота лицевого войлокообразного застила, прочность в носке.

Драп шинельный полугрубый вырабатывается из полугрубой шерсти с примесью искусственной (утильной) шерсти, а в ряде артикулов и хлопка. Переплетение двуличное, при котором один уток выходит преимущественно на лицевую сторону драпа, а второй на изнанку. В зависимости от смески, качества пряжи, плотности нитей и отделки (валки) качество полугрубого драпа

может быть различным. Хорошие по выработке полугрубые драпы являются стойкими в носке, практичными тканями, вполне удовлетворительными по внешнему виду, хотя они и не обладают мягкостью мериносового драпа.

Сукно полугрубое темно-серое, шириной 139 см, по своему внешнему виду и свойствам близко стоит к драпу полугрубому, но вырабатывается не двуличным, а полотняным переплетением с значительной увалкой. Назначение его такое же, как и драпа полугрубого.

...Для получения стойкого, добротного материала сукно должно быть плотно выработано, хорошо увалено, тщательно подстрижено с лицевой стороны.

Утром, когда Матвей попросил чаю — оттуда, снизу, — Матрена аккуратно отодвинула половик, открыла подпол за железное кольцо и кинула туда его весь, этот горячий, кипящий чайник. Он страшно закричал, завыл, потому что было больно, а она сказала звонко:

— Матвей! Все идут, и ты иди! — и закрыла крышку обротно, задвинула половик и пошла в огород.

Со второй половины 1915 года Савченков начал скрываться в подполе. Это происходило, как только приближалась к Лазинкам команда, которая состояла из священника, а также полицейского чина и двух унтер-офицеров. Полицейский чин хищно поглядывал вокруг на приближающиеся приземистые дома, а все остальные были как бы погружены в себя и сонно клевали носом. Входила команда рано утром, располагалась на постой в одной и той же избе, и хотя полицейскому чину запрещено было оповещать хозяйку

заранее, но он норовил прислать накануне гонца из Спас-Деменска, чтобы протопила баню, приготовила пирогов, да и еще подумала, чем можно скрасить их тяжкое дело, этот судорожный день, и следующий тоже, когда они по деревне собирали ратников второго призыва. Унтерам было все равно, они такого в своей жизни повидали не мало, молодой священник весь преисполнился *служением*, он молился, он шептал про себя особые слова про тех, кого забирали они из родного дома, а вот Афанасию Петровичу, полицейскому чину, было довольно мутно и неприятно, потому что всех этих людей он хорошо знал, некоторых даже с малолетства, и он злился, слушая бабьи вопли и стоны, злился, глядя на слезы здоровых мужиков, отправлявшихся в неизвестность, злился, и даже кричал, и даже иногда бил их, несильно, не крепко, но чтобы прекратили, а потом, в какой-то момент эта боль доставала и его самого до печенок. И потому вечером ему все это было необходимо — банька, самогон, пироги, сало, да порой и вид самой хозяйки доставлял некоторое облегчение, если она вдруг расстегивала кофточку на одну пуговицу и хитро смотрела. В руки, конечно, не давалась, хотя и вдова. Да и потом, конечно, грех, он это понимал хорошо, такое было возможно лишь с самыми непутевыми и изголодавшимися по мужику солдатками, такое могло бы быть, но не здесь, нет, не в этой избе, куда они приходили теперь все чаще и чаще, всегда на рассвете, всегда в угрюмом молчании, всегда под бормотанье священника и мерный лошадиный топот, чтобы забирать новых ратников, поскольку ратников опять не хватало. Ратников не хватало все сильнее и сильнее, из уезда их отправляли в большой город, из большого города грузили в вагоны, в учебную команду, это

уже там, возле фронта, возле австрийца... Полицейский чин знал все это с чужих слов, но знал хорошо, поскольку сам просился на фронт, но было велено оставаться тут, «чтобы вместо одного дурака отправить на фронт целую тысячу», как сказала его злая жена. Жена у него была хорошая, но злая, вернее, злым был ее язык, она всегда говорила правду, и в худшие моменты это его раздражало. Все эти поездки с командой были такими мутными и тяжелыми еще и потому, что вокруг него оказывались одни бабы, озверевшие уже настолько, что, подходя к избе, еще ничего не видя, полицейский чин ощущал нечто такое, в животе, что его пугало, некий холод, какой бывает, наверное, при тяжком ранении. Это было какое-то животное чувство опасности, в нем были и страх, и ярость: когда звери готовы на все, ты сам поневоле становишься зверем. Но одна изба влекла его сильнее других, и это была как раз изба Матвея Савченкова по прозвищу Горелый — самого странного и самого высокого деревенского мужика.

Ратников второго призыва забирали по *системе*: вначале по три парня из десяти домов, потом по пять парней из десяти домов, а какие из домов остаются вне призыва, жители решали сами, собираясь на задах, стоя порой на ногах под дождем или мокрым снегом несколько часов, чтобы решить, на какую избу показывать команде.

Отдавали раньше по негласному уговору — сначала младших сыновей, еще не женатых, не оперившихся, не ставших еще мужчинами, бабам их было жалче всего, розовощеких, с пушком на губах, но так было намного *лучше*: взрослые-то сыновья уже вели хозяйство, уже соображали, на них было можно положиться. Если вынуть их из семьи, весь дом рух-

нет, невестки останутся без присмотра, дети без отца, родители без помощи и утешения. Впрочем, касалось это лишь тех домов, где дети выросли, а были еще и такие, где единственный взрослый мужчина — сам кормилец. Такие дома старались оградить, оставить на потом, на крайний случай, таких мужиков отправляли в Москву, в *отхожий промысел*, пораньше, чем обычно, еще в марте или в апреле, по последнему холоду, на московские мануфактуры, на строительство богатых домов, во всякие артели, лишь бы не *забрили*. Но все это уже не помогало, ибо команда приходила все чаще, чаще, и чаще, и от младших сыновей очередь дошла вначале до средних, а потом и до старших, а потом и до самих мужиков, что было страшнее всего, ибо не по правилам, но пошла мобилизация по году рождения. Столетиями, отдавая свой долг государству, чтобы оставить себе необходимую мужскую силу, чтобы выжить и прокормиться, деревня сама решала, кого послать в армию, под пули, — и вот это *изменение правил* было самым страшным событием, означавшим, что мир рухнул, перевернулся. Поэтому растерянные бабы были дикими, но страшными и готовыми растерзать или, напротив, залюбить до смерти полицейского чина Афанасия Петровича, когда он заходил в дом.

Совали вкусное, сразу выносили штоф с самогоном, несли иконы в руках и вставляли на колени, порой предлагали и девок, молодых дочерей, лишь бы *прошел мимо*, — но как он мог пройти мимо, если на улице ждала подвода со священником и два унтера верхом на тяжелых сытых кобылах?

— Ну что, что ты хочешь от меня? — с мучением, со стоном даже спрашивал он, глядя, как пластается баба на полу, как ползет к ногам.

Это было самое мерзкое, таких он отталкивал сапогом, иногда бил этим сапогом по лицу, когда совсем становилось невмоготу, но это уже потом, ближе к 1916 году, вначале они так себя не вели, нет, не вели, вначале чинно выносили рюмку, огурец, шептали: «Афанасий Петрович, родной», предлагали откупиться: мука, солонина, даже золото иногда — какие-то невесть откуда взявшиеся ложки, портсигары, даже ткань, мягкую ткань предлагали ему тоже. Им казалось, что раз государство отнимает детей не по праву, не по обычаю, сверх положенного, не законно, то и откупиться можно тем же путем, вне закона, вне правил, но он твердо объяснял, он вежливо выпивал свою рюмку, чтоб не обижались, не бранились, ведь выпил — значит, уважил, значит, можно кричать, плакать, но его не трогай, он гость, он все делает правильно, и тогда откуда-то выходили мужики, кланялись, начинали разговор: а что, а куда, а в Австрию, вишь, в Австрию!

В Австрию.

Однажды он видел, в гостях у барина, у чиновника, верней не в гостях, а был по делу, по поводу *поджога у соседей*, жгли теперь, после пятого года, много, часто, в охотку, вошло в привычку, порой горело и само, трудно уже было понять, само или не само, тем более трудно было найти этих поджигателей, но он искал, так было надо, и вот заехал к этому общипанному барину. Бедное поместье, но гордое: большие ворота, деревянные колонны по фасаду, этих не жгли и, наверное, даже не собирались — *взять* было нечего, а может, любили крестьяне эту старуху-хозяйку, колючую, едкую бабу, которая никому не спустит, всег-

да говорит правду, как и его жена. Все дети разбежались от старухи, в Москву, в Питер, и вот этот один сын, чиновник, приехал, и в доме был праздник, было светло, чисто, прислуга умильно стояла вокруг стола, мужики и бабы, а сын вдруг начал показывать на тарелке, где эта самая Австрия, ловко вылил в белую кашу стакан киселя и размазывал ложкой, наподобие карты: вот мы, вот царство Польское, вот Галиция, вот горы, Карпаты, вот Дунай, клал вишенки, чертил ложечкой, получалось красиво, а вот Вена. Мужики и бабы и мать, старуха-хозяйка, смотрели как завороченные. Полицейскому чину не понравилось: да как же так, это же враг, лютый враг, проклятый немец, садист и насильник, аспид, упырь, про страшные зверства немцев расписывали газеты каждый день, а тут получался вроде не враг, а смешно, не враг, а какая-то каша на киселе, бабы хихикали. Тогда он спросил, а где сейчас наши войска, как далеко мы зашли в Галицию, в Австрию, близко ли уж будет город Краков, который мы вот-вот должны взять, он читал в газете. Общипанный барин подвинул тарелку поближе и посмотрел куда-то внутрь нее, сказал, что не знает, трудно сказать, вот тут идет фронт, и вдруг разрубил ложкой всю кашу, весь кисель, все как-то брызнуло, мать нахмурилась, и полицейский чин пошел прочь, приговаривая про себя — врешь, врешь, общипанный барин, все ты знаешь. И теперь, забирая парней, забирая мужиков в эту самую Австрию воевать, он думал о том, как она все-таки далеко, невероятно далеко, и вместе с тем совсем рядом, поскольку любой мужик из Лазинок может оказаться в ней, буквально любой, она стала близкой, а к пятнадцатому году, к лету, молодых парней в деревне уже совсем не оставалось, и ско-

ро очередь дошла и до Матвея Горелого, но к нему у Афанасия Петровича, полицейского чина, был особый счет, и по-особому он ждал, когда дойдет очередь до этой приземистой ласковой избы...

А в ней, в этой избе, проживала во грехе с Матвеем одна женщина, Савченкова Матрена, и вот она, эта Матрена, тем утром крикнула ему в подпол, туда, в мутную сырую глубину: да сколько ж ты там будешь сидеть, сердце рвать, не могу больше терпеть! И кинула туда в него чайник с кипятком, и Матвей ошпарился, и вышел прочь, и пошел по дороге за телегой, на которой сидели два унтера и священник, а священник отвернулся от него и плюнул, потому что Матвей Горелый жил с Матреной во грехе, поскольку была Матрена вдовой, солдаткой. Мужа ее забрали и убили сразу, в четырнадцатом году, и погиб он, как рассказали ей знающие люди, от газов, выкашлял все нутро, с кровью все вышло у него, и вылезли глаза из орбит и покрылось синюшным слоем лицо. А она ничего, пережила, проплакалась, потому что ребенок у нее был, девочка. И был у нее сосед, Матвей, которого за смуглую кожу и черные волосы звали в деревне Горелым, очень яркий, как с картинки, с ясными зелеными глазами, и тоже вдовец, жена его умерла еще раньше, до четырнадцатого года, от кори, и у него тоже был ребенок, мальчик, и вот однажды он к ней, к этой Матрене, перешел жить, то есть, верней, она к нему, и это было вроде не по закону, так как венчать их не могли, верней могли, но было это трудно, да и венчаться он не хотел, считал, что это смешно — они с Матреной уже старые, хотя было им всего-навсего по двадцать восемь лет.

Но не потому священник тем утром отвернулся от него и плюнул, что они с Матреной не венчаны, а дело в том, что однажды Матрена рассказала Матвею, от чего умер ее первый муж, солдат Иван Савченков в деревне у всех была одна фамилия, и как он умирал, и вот тогда Матвей испугался, и испугался так, что задрожал всем телом и бросился прочь из избы, бросив ложку, которой ел кашу с луком, и все остальное — детей, ее (Матрену) и свой собственный дом, и бежал он долго, по темному лесу, пока не рухнул на траву, рыдая, и вернулся только утром, поникший и тихий, и с тех пор рисовалась ему эта картина: как лежит он на поле и умирает от газов, и как вываливаются из глазниц его глазные яблоки, и как выкашливает он легкие вместе со сгустками крови, и как изо рта у него хлещет эта самая кровь, и как лицо его становится синим, синюшным, и как по всей земле тянутся эти ядовитые газы, эти розовые облака, и как все люди дышат ими и не могут надышаться, и это значит, что пришел страшный суд, тот Страшный суд, которого он боялся. Потому что таково было свойство памяти Матвея Горелого — он запоминал все тексты, которые прочитал, он помнил все страницы, которые перелистывал, помнил сам их вид, картинки внизу и вверху, помнил шрифт, как нарисованы обычные буквы и буквицы, и помнил сами слова, они плыли у него перед глазами, хотя был он человек не то чтобы неграмотный, но и не то чтоб сильно ученый, окончил церковно-приходскую школу, но и этого ему хватило. Он помнил очень хорошо про Страшный суд, и когда услышал про газы, он понял, что вот это и есть тот самый суд, над всеми делами человека, а это был самый жуткий библейский рассказ, который он помнил, он был для него страшнее

всего на свете, и поэтому, когда Матвей представил себя на этом поле, с выкашлянными легкими, то он взял и побежал в лес, а потом вернулся домой, но уже другой, не такой, как раньше. Вот поэтому священник плюнул в него.

Весной пятнадцатого года (а сошлись они с Матреной зимой, в феврале) Матвей Горелый отправился раньше обычного в отхожий промысел в Москву, наниматься в мануфактуру, в красильный цех, куда он уже уходил перед этим три года. В Москве ему жить нравилось, но нравилось не все, нравились красивые дома, богато одетые и по-городскому сдержанные женщины, но к ним, конечно, он подойти ни разу не решился. Нравились главным образом храмы, он мог целыми днями бродить по городу, заходя в них и внимательно вглядываясь в иконы, изучая свойства, детали каждой церкви, присматриваясь к священникам, к алтарникам и прихожанам, ко всем, кого видел, ибо везде было по-своему, *по-другому, не так*, в каждой церкви была своя манера, свой подход, и в одной дышалось чисто, свободно, а в другой потолок давил, окна казались темными, и лица нерадостными. От чего это зависит, он не понимал и не пытался, значит, так надо, так должно быть устроено, во всем есть этот неведомый ему смысл, бессловесный смысл, который в Москве излучала каждая выбоина, каждый камень на дороге. В этих хождениях по городу он не знал меры, сбивая ноги в кровь, запоминая повороты и вывески, запоминая все эти церкви, сотни, а может и тысячи церквей, которые вместе звонили по вечерам. Такого чуда, конечно, нигде нельзя было представить на земле, и за это чудо он прощал ей все, что не нравилось — постоянное чувство голода, бездомность, презри-

тельные взгляды мужчин, подозрительность городских, эти чудовищно пахнувшие ночлежки, этих страшных пропащих женщин, которые смотрели на него жадно, несмотря на то что денег оплатить их у него отродясь не бывало, этих воров, которые шныряли тут на каждом шагу, эту тяжкую атмосферу гульбы, жестокого пьянства и зверства, которыми были полны буквально все кабаки, все места, где людей кормили и поили. Но все это были в сущности пустяки и мелочи, по сравнению с тем, в какое счастье и волнение погружался вечером город под звон колоколов, и уже входя в него через Дорогомиловскую заставу, в потоке обозов, лошадей, запахов рыбы, навоза, всякой гнили, чеснока и лука, сена и дегтя, он улыбался про себя, потому что знал, что скоро услышит этот необычайный перезвон тысячи московских церквей.

Он не был набожен, хотя и молился. Скорее, все эти книги, которые он прочел, вызывали у него больше вопросов и больше страха, чем блаженства и покоя. Но сами церкви он любил, в них было много человеческого искусства, ума, мастерства, *волнения*, в них было много чего-то такого, что заставляло относиться к людям хорошо.

И в них хотелось стоять подолгу.

Особенно нравилось ему в церкви Живоначальной Троицы в Никитниках, звали ее еще почему-то церковью Грузинской Божьей матери, из-за обретенной в другие века чудотворной иконы, но дело тут было не в иконе, а в росписи, яркой, как ткани, которые делала Даниловская мануфактура, и по всем стенам, и по высокой сфере, и по узким приделам даже, располагалась тут стенная иконопись такой яркости и света, что он зажмурился, когда сюда входил. Впрочем, войти-то сюда было не всегда просто, кругом гро-

моздились новостройки Боярского двора, купеческие подворья, голубоватые изразцы новых шехтелевских домов. Матвей уже знал, что их так и звали — шехтелевскими, по архитектору, но не мог понять, отчего же он так знаменит; поскольку эти его дома, на взгляд Матвея, были как печи-голландки, как будто он делал печи-голландки вышиной в храмы, и даже выше храмов, вся Москва была в этой невероятной стройке, вся в лесах, в криках рабочих, в потных лошадях, таскавших на себе кирпич и огромные балки, вся она была покрыта, как звучащей пеленой, этим непрерывном стуком топоров, люди вколачивали гвозди в ее новое тело, но не потому что хотели измучить, а чтобы вознести на новую высоту. Москвичи зло щурились, обижались, плевались на эту работу, им новые дома казались наглыми каменными громадинами, чудовищными монстрами, которые заслоняли и убивали старые милые усадьбы, старые церкви, дворики и сады, вообще всю старину, особую память. Особенно свирепствовала графиня Уварова: «Спасите Москву Грибоедова и Толстого», — кричала она на страницах газет и журналов. Хотя кто бы ее стал слушать, особенно теперь, во времена таких невиданных денежных вложений, такого невероятного по масштабам строительства. Эта старомосковская враждебность к новым домам, презрение к ним буквально висели в воздухе, но время было не остановить, и потому на улицах часто возникали различные неудобства, заторы, связанные со строительством, какие-то ямы. Чтобы пройти их, нужно было перепрыгивать по доскам, подбирать юбки, пачкать галоши, проходить по настилу, перебежать по тонкой линии. Это было трудно для всех, особенно для разодетых дам, которые спешили на Пасху в эту старую,

прекрасную церковь. И Матвей, понимая это, терпеливо дожидался, когда освободят ему ход, осторожно проникал в эту старую церковь, тем более что стояла она на горке, возле Кремля, рядом с Варваркой, и была, конечно, не простой, по этим высоким ступеням, *царским*, поднимались раньше люди знатные, цари и царицы, да и сейчас теснилась толпа в праздничные дни — толпа не простая, а изысканная: дамы, мужчины, одетые по-новому, купцы, чиновники — все стремились прикоснуться к этой тайне, к этой старине, невероятной росписи, к куполу, который быстро уносил душу, к резному камню церковных врат, который был еще одним чудом, открывавшимся его любопытному глазу.

Матвей здесь, в этой церкви, становился свободен душой, настолько свободен, что насмешливо отмечал странную деталь московского быта: слепоту горожан, которые не видели своего города так, как он, то есть не видели целиком, для них существовали только отдельные улицы, по которым они ходили, и дома, в которых они существовали, но не был открыт город весь, как он был открыт ему, со своими черными дырами, мутными закоулками, искривляющимися пространствами, со вдруг избегающими холмами и ниспадающими переулками, полными гама и суеты. Главным в этом странном огромном городе были церкви, но не потому что горожане искренне верили, как раз наоборот, потому что они не верили, потому что не понимали, с чем имеют они дело, и в каком количестве, и как эти церкви стоят, образуя невидимую паутину корней, каменную грибницу, прорастающую из земли, и как они цементируют городскую почву. Горожане не понимали, не видели, и это было важно для города — оставаться невидимым, непой-

манным, неузнанным, а Матвей видел, потому что он точно измерял глазом глубину нижних уровней, в каждой церкви были захоронения, или тайные лестницы, или просто, подойдя снаружи, легко можно было рассмотреть, как стена вращается в землю, и сколько там аршинов прячется внизу, было неясно. Подвалы, причем глубокие, были и в обычных жилых домах, там держали купцы товары, там порой были огромные склады, там замуровывали богатства, там была жизнь, в церковных же подвалах, которые гораздо глубже, длиннее, не было никакой жизни, там пряталось нечто другое — *время*, и вот город хранил это время там, настаивая на том, что туда нельзя.

Однако зоркому приезжему мужику была не только открыта и понятна эта внутренняя архитектура, она была для него и доступна. Там, где горожанин брезговал спрыгивать в темноту и грязь, Матвей Горелый спрыгивал совершенно спокойно, шел, открывал двери и лазы, блуждал по совершенно пустым коридорам, не боясь заблудиться (чего ему было бояться здесь, в этой праздничной Москве), и шел, шел, шел, пока куда-нибудь не приходил, где уже не было, действительно, совсем ничего...

Катакомбы существовали под каждым московским районом, округом, местом, домом, но особенно — под каждой церковью, где, как понял Матвей, в былые годы по всей видимости не только молились, но и хоронили своих прихожан и святых отцов, но и прятались, скрывались от лютой тогдашней власти. Вот так он прошел своим путем под Соляным двором, который тогда превратили в невероятную стройку, стройку самого большого доходного дома в городе, роскошного жилого квартала. И вот глубокий фундамент

открыл такие тайны, о которых и не подозревали благодушные горожане, там можно было не то что прятаться, но и жить годами, разветвленный подземный город прямо указывал на то, что далеко не все москвичи пользовались благорасположением царя Ивана Третьего, и Ивана Четвертого, и всех последующих царей, подземные эти дыры уходили то в одну, то в другую церковь, но говорило это еще и о том, что не все священники поддерживали эту власть. Матвей же просто ночевал в этих подвалах, подкладывая под голову штаны, или рубаху, или зипун, и потому мог прослыть за коренного московского бродягу, каких было полно в этом царстве благочиния, благолепия и московского сладкого патриотизма, хотя никаким бродягой Матвей никогда не был, потому что был он мужиком примерным, послушным, просто очень любил такие скрытные места, где можно было бы ему успокоиться и просто уснуть...

Бесконечные подземные коридоры под Соляным домом, который он строил вместе с другими мужиками на месте бывшего Соляного, а ныне — Шерстяного рынка, они не только образовывали кольцо, паутину старых лазов и укромных пещер, но и выходили на большую подземную дорогу — в Кремль, это Матвей понял сразу, как только увидел вдруг расширившуюся подземную улицу, которая освещалась странным подземным светом — как будто стены ее слегка отсвечивали и плавилась.

Идти туда, в Кремль, Матвей испугался. Никого не было тут, вокруг было пусто, тихо, но тревожно, как будто злые чьи-то глаза прятались по бокам, в самодельных лазах и пещерах, как будто кто-то властно, хотя и бесшумно, говорил ему, шептал, внушал — не ходи, нельзя, убьют.

Но неизвестность влекла его всегда. Увидев новую тропинку в лесу, он обязательно по ней шел. Так же было и сейчас: против своей воли Матвей ступил на эту подземную улицу и прошел по ней буквально сто шагов, шаги его становились все медленнее и неувереннее, улица — все холоднее, он представил себе глубокую, гулкую толщу воды над головой, туннель явно шел вниз, под руслом реки, и он не решился спускаться, а шагнул в боковой проход, который оказался неожиданно теплым и узким. Дальше он свернул налево, тут стало еще темнее, он зажег свечу, потом проход раздвоился — и внезапно Матвей понял, что хочет тут остаться, не выходить обратно.

Решение было мудрым, поскольку там, в большом туннеле, слышались голоса, что за люди, он не знал, и потому решил переждать, заснул, а когда проснулся, вдруг понял, что может заплутать.

Нужно было ждать следующих голосов, чтобы идти на звук, и Матвей принялся вспоминать книгу, которую тогда еще только начал учить, и, закрыв глаза, представлять ее, страница за страницей. Занятие его увлекло. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе, не скрывай лица Твоего от меня, шептал Матвей, в день скорби моей приклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня, ибо исчезли, как дым, дни мои и кости мои обожжены, как головня, сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой, я уподобился пеликану в пустыне, я стал как филин на развалинах. Матвей оглянулся. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки веков...

Матвей вдруг подумал, лежа в узком коридоре под будущим Соляным домом, в районе Китайгородской стены, что вот и он добрался до этих основ, а сам город, огромный город, стоял на них, жил на них, опирался на них, но насколько тверды они, было ему непонятно. Глаза привыкли, в одной из ниш, которыми были полны эти стены, увидел он человеческие кости, — возможно, это были монахи прежних веков, принявшие именно здесь свою долю и совершившие именно здесь божеский подвиг, а возможно, это были следы старого преступления, люди, исчезавшие навсегда в районе старой Хитровской площади, о которых в Москве много и часто говорили, наверняка многие из них нашли свой приют здесь. Но Матвею было отчего-то все равно, кто именно покоился тут и пугал его своими старыми костями, ему было уютно и спокойно, именно тогда он впервые подумал об этом, именно тогда, спокойствие было так велико, так полно, что он снова заснул, а проснулся утром, бодрый, голодный и сильный, и безо всяких голосов вышел обратно на земную поверхность...

Как ни странно, прокормиться и прожить в Москве до открытия мануфактуры* (а в том, пятнадцатом году он пришел наниматься аж на месяц раньше срока) — не было для него неразрешимой задачей: он даже не думал об этом, разной мелкой работы здесь было столько, что она легко находила его, хозяйки брали за рукав буквально на улице. Он шел на Сенную площадь или на другой базар, и там уже, приглядываясь к нему, к его аккуратной одежде, к высокому

* Как правило, московские мануфактуры работали в весенне-осенний сезон, поскольку электрический свет и зимнее тепло обходились хозяевам слишком дорого.

росту и длинным рукам, его находили хозяева. Но он тоже соглашался не сразу, чтобы не попасть на какого субчика или мерзавца, но, правда, такого с ним никогда не случалось. И вот он жил, то плотничая, то просто присматривая за двором, где обитала одинокая вдова либо одинокие старики и где требовались разные разности: порубить дрова, принести мешок угля, подмести, починить ворота или ставни. Или работал на стройке, и если не давали денег, то жил прямо тут, в этих дворах, в пристройках, хибарах, сараях, а если давали — то шел в ночлежку, нигде ему не было страшно или грустно, везде была своя жизнь, и если его обворовывали вдруг, то стоял на коленях и молился, а если давали щедрую, непомерную плату — опять-таки шел в церковь и немного жертвовал, чтобы выразить благодарность. Эта жизнь была ему не в тягость, ибо день становился все длиннее, солнце все ярче, и в проливной дождь, и под неожиданным весенним снегом, все равно в Москве было ему весело и славно, и главное, что вокруг были эти колокольни, купола, пузатые приделы, и врата, и стены. Он обходил их, как свои кусты, как какие-нибудь лесные поляны на родине, он любовался на них и тихонько пел, крестясь на закате, ибо не был набожным, но был *тихим*.

Случалось, конечно, что московские вдовы предлагали ему остаться, приносили ношеную, но совсем еще хорошую одежду (даже мундиры бывших мужей), усиленно кормили, водили в баню, ночевать приглашали в различные светелки или чистые комнаты, намекали, смотрели, приносили все, что он хочет, — пряники, книги, картины, лишь бы ему было интересно и весело, — но из таких домов Матвей убегал, в них ему было душно, в отличие от московских подзем-

ных страшных обиталищ. В таких домах ему становилось тесно и противно. Однажды очень холодной весенней ночью он перепрыгнул через забор в отдаленном ремесленном районе Пресни, кругом были глухие темные строения, непроходимые сады, неласковые фабричные казармы, он долго бродил по переулкам, не понимая, куда податься, а потом спустился к реке и чуть не замерз, дожидаясь утра.

Однако такая беспорядочная, хотя и интересная московская жизнь продолжалась недолго, и терпел он ее неудобства только потому, что знал — скоро откроется мануфактура.

Мануфактур в Москве было много, под полсотни, считая небольшие. Все краснокирпичные, слегка подкопченные, стояли на берегах реки, шумели и дымили весело, выделявая свои ткани разного вида и фасона, под владением то иностранцев, то своих купцов, а то и вовсе неизвестно кого, каких-нибудь там губернаторских или судейских детей, которые на фабрику не любили показываться, а лишь давали и забирали деньги...

В основе же каждой московской мануфактуры стоял немец (управляющий либо главный инженер), потому везде тут были порядок, чистота, за станками следили люто, двор подметали, полы мыли, помещения проветривали, обедом и ужином кормили, чай давали, не терпели рваных, лохматых, разутых, голодных, таких гнали взашей, как только видели непорядок и неисправность не только в машине, но и в человеке, — это было такое новое чувство, к которому он никак не мог привыкнуть. Работал Матвей Горелый в красильном цехе, работа была тяжелая, но точная, мрач-